

12

У всех, кто поступал, своя история, и всякая из них достойна памяти. Я в это верю.

Мне всегда жалковато разных там медалистов, которых зачисляли в ту пору просто так, по аттестатам, позже — после собеседования, всегда благожелательного и безотказного: как откажешь, если перед тобой «золотарь» — так именовались школяры, клейменные золотом. Что тут скажешь про беспроблемных благополучников, не страдавших за собственную шкуру? Может, потому история знает уйму примеров, когда отличники ломались на полдороге, а бедолаги и мученики пробивались к цели?

Мои экзамены пятьдесят третьего года обернулись испытанием, но, ясное дело, я этого не понял. Мне будто пригрозили пальцем и временно отступились, иначе моя судьба оказалась бы совсем иной. А все началось так обыкновенно и, в общем, обманчиво беспечально.

Первым экзаменом оказалась почему-то география, и я сдал ее безмятежно, получив четверку. Меня, наивного, это не озаботило. Я готовился к сочинению, и мысль о нем меня тревожила, как и всех. Народ знал, что тем для сочинений будет несколько, и уж Лев Толстой окажется обязательно в этом перечне, а Чехов — навер-

няка. А еще объявят свободную тему по современной литературе. Кроме того, громко говорилось о том, что на сочинении, всячески придираясь, отсеют половину.

В известный день и час гром грянул, и в огромной аудитории на доске мелом написали темы, где были и Толстой, и Чехов. И свободная — «Образ И. В. Сталина в советской художественной литературе».

Вот оно! Вызов к славе и бесславию совершенно одинаков. Но в том и другом варианте — надо покрепче задуматься. Я и маялся, оставаясь внешне вполне спокойным.

Сладишь ли ты? Или окажешься слаб? И хватит ли слов у тебя, чтобы сказать то, что живет и трепещет внутри тебя? Способен ты совместить кончик перышка с желанием высказаться? Или лучше уж испытанное — образ зеленеющего старого дуба у почтенного Льва Николаевича, прекрасный Андрей Болконский и сказочная Наташа Ростова? Да и «Вишневый сад», про который давно все разжевано, будто мякиш для сплюнявого малыша...

Впрочем, про Толстого и Чехова я даже не думал. Я думал о Сталине, и все, что случилось в моей душе всего пять месяцев назад, вновь оживало, за чем-то приближалось и становилось почему-то важным.

Ведь с тех пор совсем немного времени прошло, горечь как будто отошла, а я окончил школу и приехал сюда.

Но почему все так быстро затихло — я этого не мог понять! Все это горе, слезы, траур? И что, вообще-то, происходит с нами? Вождя больше не было! А я верил, наивный, что без вождя не может быть нашей страны.

Был ли я один такой? Даже и не знаю. Я просто знал, что мой страх за отца, когда шла война, искал выход во спасении свыше! В защите и его, и всей нашей родины, а это значило — и мамы, и бабушки, и меня. А спасение это держалось только на одном. На силе наших войск, незримых из детства, но в детстве же и ясно представляемых несметных танках, орудиях, которые не дадут нам погибнуть. И отцу не дадут. Но ведь эти войска были — Сталин. Их Верховный главнокомандующий. Вот и все.

И страх ведь в моем сердце отступил, когда отец вернулся с войны, да и вот сюда-то, поступать учиться дальше, я приехал потому, что кончился мой страх, что пришла Победа. А Сталин умер, и эта великая беда еще не отошла, и никто не понимал, что произойдет дальше.

Сознание неискушенных — и мое среди них — вновь и вновь отыскивало опору, на которой держалось наше спасение.

В свои семнадцать лет я совсем по-взрослому переживал уход вождя. В те дни, когда прощались со Сталиным, я каждый день ходил на почту и скупал главные газеты с траурными черными полосами по краям. И откуда-то понимал, что именно эти газетные листы, только отпечатавшись, сразу становятся неповторимым свидетельством горя, и собирал их. На этажерке скопилась целая стопа, и никто дома, кроме меня, не прикасался к ней. Газеты горьких дней стали моим неприкосновенным страданием.

Сообщения о смерти и похоронах были одинаковыми всюду. Зато там печатались стихи, и они были разными. Я читал все кряду. Не учил, но они сами запомнились.

Приходил из школы, откладывал портфель и перебирал стопу купленных газет, перечитывал стихи. Меня они знобили. Написанные трагическим, горячим языком, они повторялись и по радио, а я уже знал эти строфы.

А до этого... В мужской школе, как, впрочем, и в женской, были уроки музыки. Не знаю, как учили девчонок, а нас музрук ставил в несколько рядов, друг над другом, используя низенькие спортивные лавки, и мы ощущали какую-то налетавшую мощь, когда пели:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовет Отчизна нас,
Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь, огонь!*

И кто тогда не знал эти слова? Кто не пел их без всяких усмешек и не верил истою в них?

В восьмом классе — ни с того ни с сего — я выучил «Стихи о советском паспорте» Маяковского и опробовал их на школьном литературном вечере. Туда звали девчонок из соседней женской школы, потом устраивали танцы под радиолу, но хозяйничали, как полагаются, старшеклассники, и я быстро оттуда смотался. А к смотру школьников выучил уже совсем другое — Константина Симонова, и это было довольно длинное стихотворение, может, маленькая поэма, под названием «Митинг в Канаде». А потому стихи надо было читать громко, быстро, нажимая на главное. И слова поэт придумал резкие, понятные, и я тоже произносил их в лоб, утверждая даже и не мою, а какую-то общую силу.

*Я вышел на трибуну, в зал,
Мне зал напоминал войну,
А тишина — ту тишину,
Что обрывает первый залп.*

<...>

*Я вышел и увидел их,
Их в трех рядах, их в двух шагах,
Их — злобных, сытых, молодых,
В плащах, со жвачками в зубах.*

<...>

*Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Ее начало — как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
— Россия, Сталин, Сталинград! —
Три первые ряда молчат.
Но где-то сзади легкий шум,
И, прежде чем пришло на ум,
Через молчащие ряды,
Вдруг, как обвал, как вал воды,
Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «ура»!
И зал встает, и зал поет.*

Но все это осталось в школе. Нет, почему?

13

И я бросился в сочинение на свободную тему.

Для начала надо признать, что я много читал, может, даже чрезмерно, и среди освоенного был «Хлеб» Алексея Толстого. Он описывал оборону Царицына, и там фигурировал Сталин.

С этого я и начал — как командовал Сталин в Гражданскую войну, почему и превратился потом город

Царицын в Сталинград. Потом я писал про войну. Наверняка у меня все выходило довольно наивно. Я процитировал слова из песни артиллеристов, которую распевал наш хор, и симоновские те заученные строки: «Россия, Сталин, Сталинград!»

Ну и еще одну песню я процитировал, ее пели чаще других — и по радио, да и у нас, когда звал отец в гости своих выживших на войне друзей.

*Встанем и чокнемся стоя мы —
Братство друзей боевых,
Выьем за мужество павших героями,
Выьем за встречу живых.
Выьем за то, что еще крепче стали мы,
Выьем за все, чем живем,
Выьем за Родину, выьем за Сталина,
Выьем и снова нальем!*

Не требовалось от меня ничего особенного, чтобы это все знать. Дети поют со взрослыми и за взрослы-

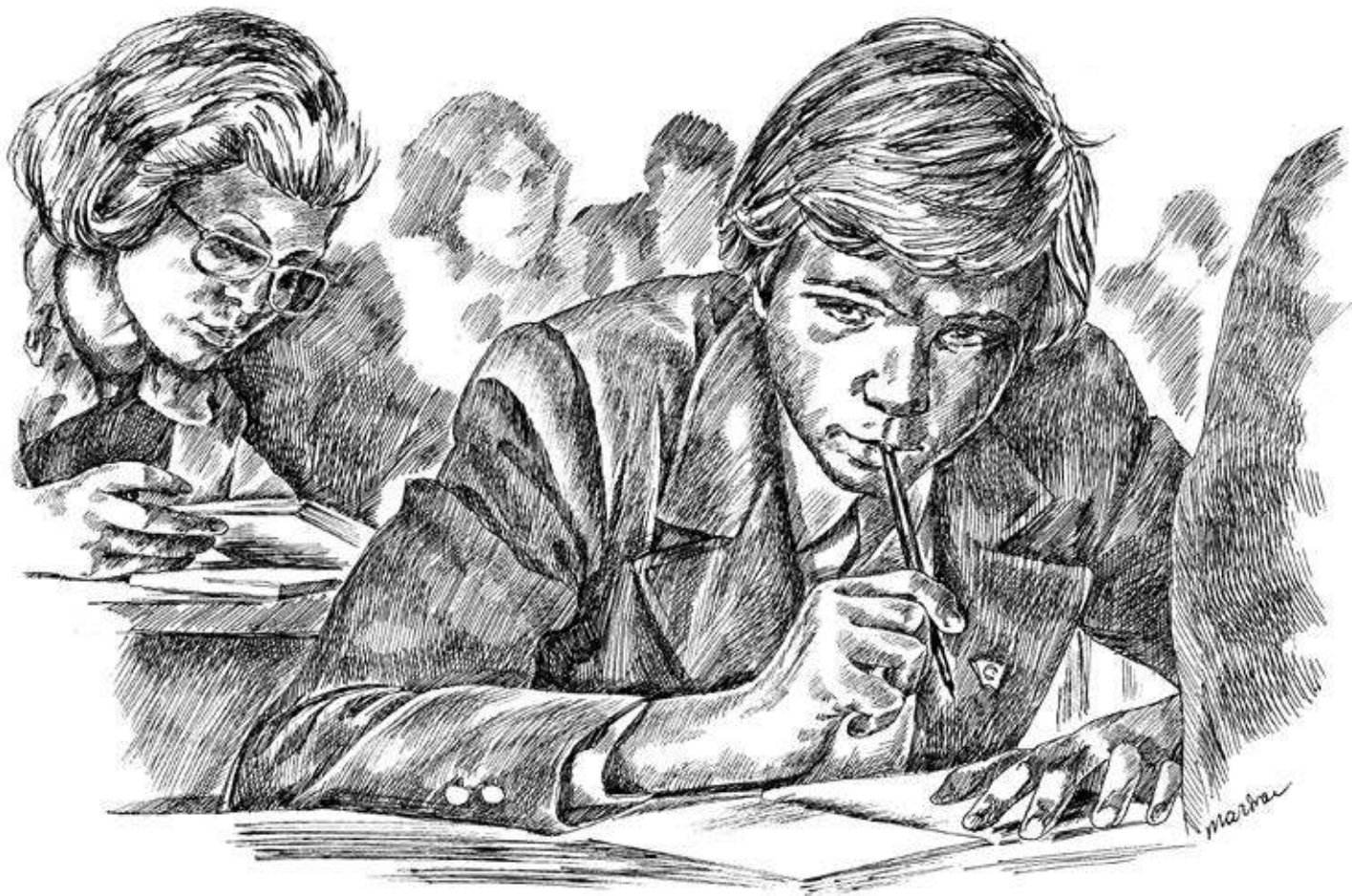
ми. И все, что они потом говорят и делают, хочешь не хочешь, а повторяется. Знать все эти слова никто не заставлял, мы их просто знали.

А стихотворение поэта Исаковского выучил сам и беспричинно.

*Оно пришло, не ожидая зова,
Пришло само — и не сдержать его...
Позвольте ж мне сказать Вам это слово,
Простое слово сердца моего.*

*Тот день настал. Исполнились сроки.
Земля опять покой своей обрела.
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий,
За Ваши многотрудные дела.*

*Спасибо Вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.*



*Вы были нам оплотом и порукой,
Что от расплаты не уйти врагам.
Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку,
Земным поклоном поклониться Вам*

*За Вашу верность матери-отчизне,
За Вашу мудрость и за Вашу честь,
За чистоту и правду Вашей жизни,
За то, что Вы — такой, какой Вы есть.*

*Спасибо Вам, что в дни великих бедствий
О всех о нас Вы думали в Кремле,
За то, что Вы повсюду с нами вместе,
За то, что Вы живете на земле.*

Перышко мое, летая поразительно легко и уверенно по проштампованному листу, не поспевало за тем, что я знал, цитировал и пытался соединить в одну мою безысходную, стоявшую за всем этим печаль: что с нами будет?

Может, даже со слезами в глазах я вписал в сочинение стихотворение знаменитого Маршака. Это имя я знал с младенчества, еще бы — «Мистер Твистер» и куча всего, что предназначалось маленьким. Теперь он и ко мне, одному из подростков, обращался как к взрослому.

*Когда Вождя соратники внесли
В гранитный Мавзолей для погребенья,
Народ во всех краях родной земли
На пять минут остановил движенье.*

*За пять минут
В душе у нас встают
Великие события этой жизни.
Гудков и залпов траурный салют,
Как ураган, несется по Отчизне...*

Я уже два раза попросил добавки у дежурных по сочинению, и мне принесли два двойных листа со штампами. Первый раз его дала мне безразличная ко всему девчонка, может, старшекурсница, а в другой раз с опаской приблизилась та знакомая уже женщина из приемной комиссии, похожая на учительницу. Она еще отправила меня с Люсеттой в прожарку.

Отдавая лист чистой бумаги и вглядываясь в исписанные страницы, она с испугом спросила меня:

— Вы что, сочинение в стихах пишете?

Эта фраза меня, может, и спасла. Я медленно, как рыба из глубины, выплыл в этот чужой мне зал из пока еще неведанного мне вдохновения. Совершенно здесь неуместного, конечно!

Мне надо поступить в университет, а я рассиропился на бумаге так, что хоть сопли мне вытирай. Впрочем, а так и сделал. А тетеньке ответил:

— Нет! Это цитаты!

Она так пораженно вскинула брови, что я подумал: ну, мне хана!

И здесь я крепко споткнулся. Помутневшими глазами оглядел аудиторию — головы, склоненные над столами, плыли смазанными пятнами. Может, первый раз в жизни, один на один с собой, я должен был прикоснуться к чему-то опасному, не понимаемому мной, витающему где-то над нами.

Ведь совсем еще недавно, в сорок девятом, в декабре, страна отмечала праздник. Да еще какой! Семьдесят лет со дня рождения Сталина. И тогда в нашей школе был вечер, и во Дворец пионеров я ходил как чтец стихов, уже себя зарекомендовавший благодаря «Стихам о советском паспорте». Во Дворце я числился среди артистов, которых выпускают в самом начале — или почти в самом! — и на этот раз я выучил, может, самое короткое стихотворение, которое отчего-то мне нравилось своим, может быть, достоинством. А всего-то шесть строк!

*Нам есть чем гордиться и есть что беречь —
И хартия прав, и родимая речь,
И мир, охраняемый нами.
И доблесть народа, и доблесть того,
Кто нам и родней, и дороже всего,
Кто — наше победное знамя!*

Имена авторов стихотворений не очень-то останавливали мое внимание, кроме, разумеется, таких, как Маршак, и я еще не знал, что бывают фамилии, при упоминании которых происходят незримые глазу взрывы. Но в список ведущего требовалось вставить название стихотворения и имя автора. Уже во Дворце взрослые, видать, в последний раз оглядывая перечень с содержанием танцев, песен, стихов, вдруг споткнулись на мне. Меня подозвал ведущий — хорошо меня знавший художавый артист при галстукке-бабочке — и, побледнев, спросил:

— Чье это стихотворение ты надумал читать?

Я пожал плечами, совершенно не понимая, чего это он так возбудился:

— Да Ахматова, какая-то татарская поэтесса!

— Ахматова! — то ли испугался, то ли восхитился дядька. — Да ты в своем уме?

Кровь прилила к его лицу, и он, не вдаваясь в подробности, дело переиграл:

— Читай Симонова! А это — ни-ни!

Я подчинился, читал «Митинг в Канаде», и мне долго хлопали, а я уже прекрасно соображал — хлопают

не мне, а словам этим: «Россия! Сталин! Сталинград!» Ведь концерт был праздничный, и понятно, кому посвящался праздник. Когда торжественная часть закончилась и отблеском юбилея, хоть немножечко, был освещен и я, а дальше начались танцы, я столкнулся в туалете с этим дядькой — нет, дядьку уже не выносит из своих глубин его имени. Все было позади, мы стояли у соседних писсуаров, и когда дело, во время которого о серьезных вещах не говорят, завершилось, он, помыв руки, отстегнул свою бабочку и, выйдя в коридор, обнял меня за плечи и подвел к окну, украшенному инеем.

— Ну, видишь! Полный успех! И никаких проблем! — А помолчав, спросил: — Большое было стихотворение? То, другое?

Мне хотелось подразнить его, спросив — почему, мол, было, оно — есть и никуда не делось. А ответил как полагается:

— Шесть строк.

— Ну, прочти, — попросил он.

И я прочел, впрочем, без всякого выражения.

Он вздохнул, помотал головой, спросил, в каком я классе. Это был мой седьмой класс, я готовился вступить в комсомол.

— Забудь, — сказал мне человек без бабочки, — эту Ахматову. А то можешь навредить себе... Будешь постарше — и все узнаешь... — Он усмехнулся. — Прямо из школьной программы.

Так все и вышло. И в билетах на аттестат зрелости, и, уверен, в билетах для поступления в университет был где-то вопрос про постановление о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград». И Ахматова там осуждалась. Всякие осуждения в газетах были опасны, в такие дебри не следовало углубляться вообще.

Но всякие приключения кончаются не тогда, когда хотим мы, а тогда, когда хотят они сами, совершающиеся с неведомой целью. Да еще они над нами будто посмеиваются, все эти неожиданные повороты судьбы.

Так что еще одно приключение произошло очень скоро, самое большее — через неделю. Даже не в библиотеке какой — я по ним шастал исправно, записавшись в пять или шесть, а дома — отец принес праздничный номер журнала «Огонек», посвященный все тому же семидесятилетию, с вождем на обложке, и я, листая его, вдруг споткнулся: Анна Ахматова.

Прочитал, восхитился, вырезал стихи и еще одно стихотворение выучил — то ли назло тому дядьке, который и шесть-то строк этой тетеньки не дал произнести, то ли еще кому — неведомому пока. И вот этот неведомый замаячил передо мной. Или это неведомое было среднего рода?

Теперь-то, сдавая экзамен в университет, я считал себя, можно сказать, почти грамотным: постановление,

где громили Ахматову, принимали в сорок шестом, а семидесятилетие Сталина отмечали в сорок девятом!

Но все-таки отчето-то замер в той университетской аудитории, как на распутье: только не как уверенный в себе знаток, а как бестолковый и слегка самоуверенный щенок, с одной стороны, учувший опасность, а с другой — этой опасности жаждавший.

Ведь меня за Ахматову могли остановить... Не пустить учиться. А я хотел! Как быть?

Словно черт из табакерки, из-за аудиторской двери выглянул подзабытый, но желающий мне добра сухощавый артист с галстуком-бабочкой. Я даже вздрогнул. Но выглядывал из-за двери совсем другой мужик, правда, тоже сухощавый и тоже при бабочке! Но это ведь кто-то и что-то давал мне знать! Что именно — стоило ли гадать?

Однако знание, равно как и незнание, бывает трудно остановить. И я вписал в экзаменационный лист два стихотворения, одновременно слукавив таким примерно манером: мол, вычитал среди обильных стихов великой утраты, но имени автора не знаю. Да и так ли это важно, ведь главное — искреннее слово о вожде. Второе стихотворение было таким:

*И Вождь орлиными очами
Увидел с высоты Кремля,
Как пышно залита лучами
Преображенная земля.*

*И с самой середины века,
Которому он имя дал,
Он видит сердце человека,
Что стало светлым, как кристалл.*

*Своих трудов, своих деяний
Он видит спелые плоды,
Громады величавых зданий,
Мосты, заводы и сады.*

*Свой дух вдохнул он в этот город,
Он отвратил от нас беду —
Вот отчего так тверд и молод
Москвы необоримый дух.*

*И благодарного народа
Вождь слышит голос:
«Мы пришли
Сказать — где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!»*

Итак, меня не трогали до последнего. Абитура наша, заканчивая сочинения, складыва-

ла их на стол, народу в зале становилось все меньше, пока я не очутился совсем один. Я поглядывал в сторону наблюдателей, но дописывал, дописывал, торопясь, последние строки, пока, вздохнув, не поставил окончательную точку. Начал перечитывать и снова окупунул в глубь своих соображений. Читат оказывалось сверх всяких мер, а связующие их пассажи шли из глубин моей наивной души. И я не мог понять, что у меня случилось. Сопливый винегрет?

Краем глаза я отметил, как пожилая, пошептавшись с молодой, неторопливо поднялась и медленно-медленно, точно кошка, которая подкрадывается к мыши, двинулась в мою сторону.

Когда она приблизилась, я посмотрел на нее. Наверное, облегченно посмотрел — и отдал ей целую стопку своих листов. Она утешила как могла:

— Самое большое сочинение!

Я ушел прошвырнуться по зданию, потом на улицу, все еще в ясно сознаваемом угаре от небывалого напряжения. Кажется, меня даже слегка познабливало, будто пережил какой-то приступ! Я спрашивал сам себя: на что намекала эта доброжелательная женщина учительской наружности? Самое длинное — еще вовсе не значит, что хорошее. Чем больше слов и предложений, тем больше шансов пропустить знаки препинания и хапнуть трояк. А это для меня означало конец света. Одна четверка уже есть.

В нашем общежитском парламенте, пусть и не сильно многословном, отчего-то было давно известно, что у журналюг проходной бал — двадцать три. Из возможных двадцати пяти. Возможны две четверки — и все!

14

Через три дня был устный экзамен по литературе и русскому. Там объявлялись оценки за сочинение, но только тем, кто получил больше двойки. Список двоечников, то есть отлученных от дальнейшего, был вывешен внизу, на стенке между огромным — из какого-то, пожалуй, старинного дворца — зеркалом, наклоненным чуточку вниз, с обширной полкой перед ним, и многоячейстым почтовым ящиком по соседству, куда клали письма студентам. Но ведь студентов не было, в ящиках белело пять-шесть недополученных конвертов, зато в пространстве возле них на доске объявлений висел лист с перечнем получивших дурные оценки.

В этом пространстве легкими облачками возникали небольшие группки. Чаще всего они быстро рассеивались, но я послушал и несколько речитативов с подвывом. Меня среди двоечников не оказалось.

Но на сдвоенный русский — литературу я шел подрагивая. И это требует пояснений. Русский язык с его

многочисленными правилами я не мог детально одолеть. И, кроме деепричастного оборота, все остальное представлял весьма прилизательно. Да и это деепричастие-то меня заманило только своим образным примером, который был известен всей, наверное, стране: «Пятак упал, звеня и подпрыгивая».

Однако — и это было удивительно — не зная правил, я писал без ошибок. Секрет, пожалуй, в том, что, читая книжки, я никогда не торопился. Не гнал динамо, а наоборот, даже перечитывал еще и еще раз сложноподчиненные предложения. И просто механически запоминал, где нужно ставить знаки препинания. А уж как пишутся слова, так любая книга и дает всегда точный ответ. Проверенные навыки меня не подводили, но и незнание правил никто не прощал. А в моем билете перед разбором предложений, всегда для меня ненавистных, был еще Горький, вернее, его «Город желтого дьявола». Много начитавший в школе, «Дьявола» я не мог осилить. А требовалось не только пересказать содержание, но и вскрыть особенности. И я заскрипел на повороте: публицистический памфлет, образ загнивающего империализма, в общем, дешевый школьный ликбез без всяких соображательных отклонений.

Русский и литературу принимала уже явная учительница. Если та, из приемной, только походила на учительницу своими повадками, то эта их ярко демонстрировала. Была она в меру полная, настороженная — ведь ученики-то посторонние — и в то же время очень к каждому благорасположенная. Может, потому, что это экзамены в университет, а не школьные, даже выпускные, и перед ней предстают люди разных городов и весей, что тоже к чему-то обязывает.

Словом, тетенька простого обличья, с не очень-то выразительными глазками, старалась взирать на испытуемых и по-доброму, и взыскательно, и острожно. Все это сразу! А я быстро уловил, что она слушает меня напряженно и мой казенный ответ ее кручинит. Что же касалось моих овечьих меканий и беканий по поводу разбора предложения, это ее и во все огорчало.

Я увидел, как, посидев и терпеливо послушав, она протянула руку и зашелестела бумажками. Потом выдернула одну, полезла в пачку листов, лежавшую на краю стола, полистала что-то, придвинула к себе. О боже! Я узнал свой почерк. Это было мое сочинение о Сталине.

— Так вы что? — резко перебила она мое бляение. — Николай? Кузнецов?

Я молча указал на экзаменационный лист, к которому приклеена моя фотография, безмолвно проваливаясь в пучину смутных предчувствий.

Но кто-то — наверное, мой личный маленький ангел — вдруг стал усердно подкрашивать эти предчувствия в розовый цвет. А потом и вообще поддал жару. Тетенька-экзаменатор оглядывала меня с головы до ног. И я вдруг увидел, что у нее очень выразительное, доброе лицо. И оно не скрывает удивления! Не могла, мол, и подумать, что это вы!

— Но! Вы! Же! — восторженно восклицая каждым словом, торжественно произнесла тетенька. — Написали! Превосходное! Сочинение! Пятерка по всем пунктам! — И тут она перешла на шепот: — Столько знаете! А сейчас!

«Что — сейчас?» — хотел спросить я с горестью, которую, к счастью, не поддержал мой ангел-хранитель.

— А сейчас, а сейчас, — качала головой моя испытательница, разглядывая — разглядывая — разглядывая меня и все не устая кивать каким-то своим потаенным мыслям.

А потом она молча взяла мой листок, и через ее плечо в простеньком и неновом, но все-таки не черном платье я увидел, как она ставит: «сочинение — 5», «русский и лит-ра — 5».

И опять повернулась ко мне. И как-то совсем по-взрослому, с неведомой мне доверительностью и неким лукавством, спросила:

— Ну а кто же все-таки этот прекрасный, не названный вами автор? Вы знаете?

Я чутьчку колебнулся. Передо мной трепыхался экзаменационный листок в руке учительницы. И я солгал. Чтобы ложь осталась неизреченной, пожал плечами.

Она понимающе прикрыла веки.

15

Никогда я больше не встречу эту учительницу, принимавшую экзамен в университете. Да, признаться, я и выскочил-то поскорей, схватив листочек с двумя пятерками, чтоб не передумала, — мало ли? Но чем дальше отходит от меня то время, тем благодарнее я думаю о ее решимости, спасибо ей! Что-то такое все-таки сделала она не по правилам. И я думаю, это что-то означало главное для меня: не помешать! Дать дорогу мальчишке, его искренности. Если чего-то не знает, потом доберет. Жизнь научит, чему надо. А чему не надо — то можно и не учить.

Удивительно, но через день я нарвался на еще одну такую же тетеньку. На экзамен по французскому я пришел, как парусный корабль после бури. Паруса, может, надуты ветром желаний, но днище пробито, течет, и, чуть тронь, корабль затонет, как пустая бочка.

Французский сдавало совсем мало народу, и все девчонки, из лиц мужского пола один я. Иностраный

язык — не математика, тут шпаргалок не бывает, а требовалось сначала прочитать вслух, показав произношение и навыки чтения, небольшой кусочек французского текста, тут же его перевести и потом ответить еще на два вопроса, разобрав предложения и обнаружив знание правил.

Боже ж ты мой, как мерзко чувствовал я себя! Окружавшие девицы, все больше из местных, ловко щебетали экзаменаторше и, улыбаясь, вылетали свободными птахами. А за столиком сидела полная дама с ярко накрашенными губами таким сердечком, и эти губы давали мне понять, что участь моя незавидна. Свои вопросы девчонкам она задавала по-французски, ей отвечали тем же, и рыхлое тело «француженки», казалось, колышется от наслаждения — везло же мне на пухлых дам!

Однако я быстро вынудил ее перейти на русский. Чтение мое еще сошло с рук, перевод она поправляла много раз и довольно радикально, а услышав мое толкование правил, задумалась и отвела взгляд в сторону.

Пришлось сменить тактику и вкрадчиво, чтобы не привлекать внимания остальных, сказать ей, что у нас в школе за год менялось по пять учителей французского и что лично я обожаю французскую литературу, — назвав очередью, почти автоматной, имен пять из самых прославленных. Она, может, впервые внимательно, хотя и искоса, посмотрела на меня. Потому что за этим последовало мое горячее желание как следует выучить язык оригинала этих великих кудесников слова.

— У вас такие хорошие оценки! — полупшепотом сообщила мне француженка с накрашенными губами. — А вы не тянете и на тройку!

И я увидел доброту в ее вишневых глазах.

— Ну пожалуйста! — попросил я.

Она сочувственно вздохнула и вывела мне тройку.

— Это катастрофа! — проговорил я.

— Но я не могу! — жалостно вгляделась она в меня. — Я и так! А вы получайте пятерку на следующем экзамене! И все в порядке!

Я, конечно, возненавидел ее. Точнее, возненавидел-то себя, но что толку? Иностраный язык не выучишь за неделю перед экзаменом и даже за лето, к примеру. А репетиторства тогда не было и в природе, если кто не знает. Оно если и не преследовалось, то осуждалось.

Так что имя Сары Христофоровны, с которой все-таки встречусь в сентябре, оказавшись студентом, я запомнил еще в августе. Однако на большее по французскому рассчитывать и не приходилось. Значит, требовалось посерьезнее отвечать на географии. А попасть в пятерку на истории только еще предстояло. И все же я поверил ее полупшепоту. Так что и она мне вроде

помогла. Только совсем не так, как учительница литературы.

Историка я навсегда запомнил. Три дня, дававшиеся на подготовку к последнему экзамену, я провел на балконе у тети Лизы. Оставил под кроватью в общаге свой серый чемоданчик, приехал к ней с просьбой о ночевках перед историей, и все, что было во мне, все свои мозговые ресурсы и все остальное, что небо отводит для умственной энергии, использовал до упора, потому что проходным теперь называли результат в двадцать два балла.

Стараясь не расплескать свои знания, я, видать, запутался в трамвайных маршрутах и опоздал. За что и споткнулся о плохую встречу: усталый экзаменатор, молодой мужчина, проговорил:

— Но вы опоздали!

Я ничего не ответил. Ответил, наверное, мой щенячий, повинный вид, полный отчаяния: передо мной вонзилась в пол сверкающая молния.

— Берите билет! — устало проговорил экзаменатор, но тут же оживился. — А без подготовки можете? Прибавлю целый балл!

Вот это преимущество. И я кинулся в плыв в свое уходящее будущее.

Слава богу, что я повторял историю у тети Лизы! Слава богу, что не отвлекался ни на какие ее душевные собеседования! Слава богу, что был переполнен историей до кончиков своих ногтей!

Я говорил быстро, уверенно, не теряясь. Читал вопрос — и летел вперед. Мужчина поднял брови домиком и, едва я разлетелся, остановил:

— Следующий вопрос!

Я разогнался по другому вопросу, а он снова оборвал меня:

— Следующий!

Остановил и в третий раз. Спросил дату Куликовской битвы. Сказал неожиданно поощрительно:

— Если бы я сдержал свое слово, пришлось бы ставить шесть. Но такой оценки нет. Желаю удачи!

Вот такое стечение обстоятельств: историка этого я тоже больше никогда в своей жизни не видел. Но проходной оказалась цифра двадцать три.

Ее объявила та самая женщина учительского обличья из приемной комиссии. Зачисление в студенты произошло прямо у ректора, перед кабинетом которого находилась огромная приемная. Народ туда, ясное дело, не пускали. Живая толпа клубилась и сдержанно бурлила в широком коридоре, я никого не замечал, и все во мне сгорало в тяжелом и медленном пламени. Но все-таки ангел находился где-то поблизости. И хотя я не ощущал его обычной уверенности, надежда на чудо меня не бросала. А иначе — что? Куда я? Зачем и почему?

Вышла эта тетенька и объявила:

— Зачислены все льготники, не получившие двоек. Участники войны, бывшие военнопленные, абитуриенты из районов Крайнего Севера. Зачислены и все остальные, получившие двадцать три балла!

За ее спиной уже вывешивали списки принятых. А я, покрывшись холодным потом, прислонился к стене.

В коридоре слышались ликующие восклицания, радостные вскрики, но и стоны, в общем, стоял шум, так что мало кто расслышал, как она назвала две фамилии — мою и какую-то еще. Было велено подождать.

Этим другим окажется Борик Рябиков, которого позвонят в кабинет ректора и который почти сразу выскочит, улыбаясь: потом я узнаю, что он выпускник детского дома. Позвали меня.

Никогда не забуду огромную пальму в углу. Она слегка потрескивала на сквозняке своими жесткими листьями, как будто строчит далекая-далекая пишущая машинка, надо же! За столом сидел седой и неприветливый человек с нахмуренными и мохнатыми черными бровями. С одной стороны возле него была все та же благосклонная женщина, а с другой — мужчина из приемной комиссии, который отправлял в санобработку.

— А зачем вам учиться? — вдруг спросил меня бровастый ректор, и я содрогнулся. Был бы послабее, свалился бы с ног. Но это оказалась шутка.

Ректор листал мой скромный альбомчик с вырезками и продолжал таким же мрачным голосом:

— Вы и так все умеете! Вон у вас сколько заметок!

Ну, взрослые! Да еще всемогущие! Разве же можно этак-то?

— Ну хорошо! — продолжил седой, теперь уже вглядываясь в меня. — У вас тройка по иностранному, стипендии первый семестр не будет.

— Помогут родители! — твердо ответил я, заранее обдумав свое положение.

— Но и общежития у нас нет! — продолжил он испытывать меня.

— Сниму койку! — ответил я.

— Тогда желаю удачи! — сказал ректор.

16

С этим Борей Рябиковым из детдома мы и вышли из огромного, почти сразу опустевшего здания. Только теперь разглядел я толком своего напарника по удаче. Был он невысокий, белокурый, розовощекий, похожий на озорного поросеночка, и все время подпрыгивал почему-то, подскакивал, постукивал копытцами. Зато я походил на лимон, выжатый до последней капли.

Борис подскакивал, а я волочил ноги, и мы, не сговариваясь и ни о чем не толкуя, медленно шли вдоль

трамвайных путей куда-то в сторону центра. Хотелось жрать, и вот это-то справедливое чувство, наверное, разумнее всего возвращало меня к жизни. Я оглядывался по сторонам в поисках хоть какой-то столовки, но они, как назло, не попадались, и мы подошли к самому что ни на есть городскому перекрестию.

Здесь у кинотеатра с непривычным мне названием «Совкино» сходились и расходились трамвайные пути во все четыре стороны света. Грохот стоял тут не то чтобы ужасный, но постоянный, водители трамваев постукивали своими сигналами, похожими на частый бой молоточков, поворачивали свои красно-желтые вагоны, а люди, будто нарочно испытывая судьбу, перебегали у них под самым носом.

Напротив «Совкино» мы увидели кафе-мороженое и зашли туда. Пришлось взять по мороженому и — надо же, какая вольность! — по граненому стакану шампанского. Замечу мельком, что шампанское в той кафешке бокалами не подавали, да и взрослый народ подозрительно клубился возле невзрачного заведения, намекая, возможно, и на другое, более практичное применение этой вечно живой стеклянной тары.

Мы уселись за столик. И вот тут только я понял, что со мной произошло, примерно через час после спасительного приговора!

Здесь в самую пору заметить, что шампанского я до тех пор никогда не пробовал. Портвейн на выпускном из горлышка — да. Назывался «777», «Три семерки». Но портвейн мне на душу не лег. А тут шампанское! Советское! И по граненому стакану! И голодные мы были до полной пустоты. Да и шампанское никто не учил пить — ни меня в семье, ни Борика в детском доме. Мы в один присест хлопнули по стакану, как показалось, шипучки и стали с голоду заедать мороженым.

В голове пыхнул чудесный жар, недавние горести показались волшебным сновидением, а поросенок Боря — превосходным собеседником, что в последовавшие годы я больше не отмечал.

Нам было не просто хорошо, а превосходно радостно — вот как я обозначил бы то наше состояние. Мы считали себя удачниками без всяких оговорок. И даже нахально смеялись над препятствиями, которые пришлось одолеть.

У Борика вообще оказалось три тройки — по немецкому, за сочинение и по литературе. Я попробовал удивиться, но только восхитился его удачей — детдомовца приняли бы со сплошными тройками, оказываются! И стипендию ему дали! И общежитие!

О, как мы были чисты и наивны! А я восхитился таким справедливым правом и совершенно не позабыл. Я только тайно вспомнил, как милые мои мама и отец, вернувшийся с войны, отыскав аж Героя Со-

ветского Союза, отправляли меня на багажной полке сюда, — и мысленно прильнул к ним!

Но как я мог! Ведь мне следовало не шампанским упиваться, а бегом бежать на главпочтамт, чтобы отбить самую срочную телеграмму в мире: родные мои, я поступил! Или чуточку скромнее: меня приняли!

Я радостно сообщил Борике, что намерен направить свои стопы к телеграфу, но стопы не слушались.

— Отлично! — говорил Борик. — Я тоже отправлю депешу в детдом. Хотя... Они и так знают, что я поступлю! Ведь главное было — не получить двойку. А кто мне ее поставит?

Я отнес свое непонимание к заслугам советского шампанского, спросил удивленно:

— Ты хорошо знаешь? Или они не могли?

— Не могли! — блаженно улыбался он, несерьезный человек.

— А чего? — спросил я.

— Ну кто поставит двойку абсолютному сироте? — засмеялся он, хотя смеяться-то было нечему. Я поежился на скрипучем кафешном стуле.

— Погибли на войне? — спросил я, сочувственно разглядывая Бору.

— Нет! — ответил он, слегка покачиваясь и радостно улыбаясь. — В заключении!

— У немцев? — обратился я за подтверждением.

— Нет! — радостно воскликнул Борик. — У нас!

Настало ли у меня хоть какое-нибудь протрезвление? Совершенно нет!

Я уклонился от начатого разговора как-то интуитивно, подумав, что Борике неприятно говорить на эту тему. И мы с ним, долизав мороженое, вышли из кафе, послушали звяканье трамваев, поглядели на пешеходов, выскакивающих из-под них.

Живая жизнь отодвинула печальную тему, и мы расстались.

Я отправился на телеграф, он же, помотав головой, не согласился идти со мной, а, неумело выравнивая шаг, устремился к остановке, откуда трамвай двигался к общежитию.

ПОВЕСТЬ ВТОРАЯ

ТЕТЯ ДУСЯ И ДРУГИЕ

1

Итак, это было восемь лет спустя после жестокой и страшной войны, и нам всем очень хотелось, чтобы она поскорей осталась позади.



Да что значит — поскорей? Разве просто восстанавливать Сталинград, разрушенный до основания? Или Минск? Мы смотрели в кино «Новости дня» под бравурную музыку и бодрые голоса дикторов, и картинки новых домов совпадали со словами и мелодиями, но только совсем неразумный оболтус не понимал, какая это тягота — строить целые города, после войны-то, где мужиков убито несметно!

Конечно, тревожно вздрагивала душа, когда из черной тарелки репродуктора слышался вдруг снова голос Левитана. Но теперь — и это было каждую весну — он объявлял о снижении цен.

Потом, годы спустя и даже десятилетия, объявятся злыдни, ничего доброго-то сами не совершившие, но хулившие снижения: мол, мало этого было людям, мол, политика тут одна, но мы-то, и не только малые, но и матери, и отцы, кто жив остался, улыбались — жизнь-то вроде лучшает, а? Особенно когда так упорно каждую весну — нет-нет, а снижение все же...

Да, мы наивно хотели, чтобы война ушла поскорее вдаль, но у нее был свой, непоспешный, отступ, и никто

еще не забыл, хоть карточки отменили, сколько граммов хлеба полагалось в день на взрослого, а сколько на иждивенца.

2

Так что, поступив учиться, я тут же осознал первоначала философа: бытие — первично, сознание — вторично. Прежде чем спорить и отыскивать истину, было желательно сперва поесть.

Первые недели и даже месяцы студенческой вольницы все путалось и менялось. Ели торопясь, кое-как, чтобы поскорей вернуться в опустевшие аудитории и сбиться там в небольшие, спорящие стайки. Но бытие брало свое. Особенно в конце месяца.

Родители, конечно, спасали меня. Я же поступил с тройкой по французскому и до первой сессии стипендии лишился. Да еще и общаги тогда первокурсникам не давали — кроме фронтовиков, северян да сирот. Пришлось снимать койку, и в маленький частный домик нас набилось, как мелкого частичка в плоскую консервную

банку: трое мальчишек в одной комнате, четверо математичек в другой, и каждый платил хозяйке по двести рэ в месяц.

Так что требовалось на прожитые рублей пятьсот, считая на еду по червонцу в день. И мы приспособились так: брали по полкило масла и сахарного песка, да еще чай в пачках. К ним — утром и вечером — по «городской» булке. А в обед — щи, котлета, чай — рублей на пять-семь. Все остальное как бы исчезло. Да впрочем, это все остальное-то еще и не появлялось в нашей юношеской свободе.

Тетрадки для конспектов — они стоили недорого. Ручки и карандаши? А учебники, если таковые требовались, выдавала читалка, и отчего-то хватало всем. Про одежду, ботинки и всякие там прибабасы мы, мальчишки по крайней мере, вообще не разговаривали: носили то, что было, и никто на эту тему не печалился.

Это, конечно, звучит совершенно несовременно: ходить в том, что есть. Этакая философия нищеты, что ли? Но вот ведь любопытный вывод: больше времени оставалось на иное. На мечты. На споры, которыми мы как бы нащупывали смысл собственного существования. А он уж и не так убог был, напротив, более чем высок: кто мы, зачем мы, что мы можем в этой жизни осуществить? И это в державе-то, еще кровоточащей. Еще не оплакавшей свежих могил. Не залечившей ран — в прямом и переносном смысле этих слов.

Не обращая внимания на то, кто и как одет, мы толковали о разных разностях с одним смыслом: все у нас впереди. И мы находимся под защитой чего-то большого и важного. Захочешь — и все получится, только надо горячо захотеть да самому как следует потрудиться.

Не берусь судить про все тогдашнее общество, но студенческий мир напоминал созревающую бражку — это такой напиток, который делали умелые хозяйки: остатки хлеба, может быть, хлебные корки, дрожжи, вода, чуточку спирта — и ядреный получается напиток. Слегка хмельной — а порою и хмельной основательно, приятный на вкус.

Почти как человеческий самообман.

Пьешь и веселишься, а потом подняться не можешь!

3

У тех, кто стипендии получал — а их получали все, кроме меня, — споры выдыхались, когда деньги кончались. Братва расходилась в разные стороны в поисках счастливой десятки. Чаще всего деньжонки эти, на один день, находились у девчонок, и кто-то кому-то одалживал с возвратом в день стипешки.

Я же, напомню, стипешки не получал. Конечно, я старался изо всех сил растянуть мамины деньги на трид-

цать дней, по десятке в сутки. Но получалось не всегда, с провалами. Надо было купить проездной на трамвай или троллейбус, и хоть он был студенческий, подешевле, тридцать-то рублей вынь да положи. На баню да за стрижку — расходы все неотложные. А было еще кино! И хотелось в театр!

Впрочем, признаюсь: главной причиной моего личного финансового дисбаланса были книги. Я даже старался выработать в себе волю к непосещению книжных магазинов. Но выходило это плохо. А тогда в книжном на Малышева продавались истинные чудеса. Коллекция из собрания живописи президента Индонезии Сукарно: толстые тома — под тысячу каждый! Только облизываться можно! Но без некоторых книжек, казалось, прожить невозможно. Например, «Истории русской журналистики XIX века» Новикова! Спроси меня теперь, сильно ли она пригодилась, и я плечами пожму, а тогда мне казалась жизнь без нее невозможным делом, раз уж я выбрал такую профессию. Был чудный Гоголь в кожаном переплете и не менее чудный «Петр I» Алексея Толстого!

Да все мне в этих книжных той поры казалось невероятно важным, однако недоступным — и все же достижимым, если попробовать ужать свои потребности, и без того скромные.

И вот я доужимался в один прекрасный день. Зажав в кулаке смятый рубль, заказал суп-лапшу. Даже без чая.

4

Тетенька за кассовым аппаратом, всегда приветливая, — мы знали, ее зовут Дуся — удивленно глянула на меня, пробила чек и взяла мятый рубль.

Я прошел в зал, состоящий из дюралевых столиков и таких же стульев, принес себе тарелку с ложкой.

В тот раз я был один, без всегдашних моих приятелей — видно, каждый кашевался самостоятельно. А может, я просто отстал от толпы, мне требовалось за чем-то в город, может, на главпочтамт, ведь именно там, в окошечке писем до востребования, я получал мамины письма и переводы, чтобы они не затерялись на студенческом прилавке.

Большинство нашего народа письма получало где-нибудь во втором перерыве, внизу. Рядом с раздевалкой к стене было прикреплено старинное зеркало с широкой полкой понизу, вроде целого прилавка, и почтальон выкладывал на эту полку целую гору писем, переводов, а то и телеграмм. В перерыве их разбирали, а что оставалось, раскладывали по алфавиту в ящичек, висевший неподалеку, и там эти остатки кисли, пока их не разберут или не вернут почте по случаю невостреманности.

Некоторые письма я получу и на этот прилавок, но потом, позже, а мамины депеши, особенно содержавшие пособия, я предпочитал получать по адресу: Главпочтамт, до востребования. Четко и совершенно надежно.

Но в тот день я не получил перевода, последнее копейке истратил на трамвай, а мятый рубль проел, употребив лишь один супец с лапшой. Зато у меня в чемоданчике появился Шандор Петефи! Как без него!

Пока хлебал лапшу, не ощущая вкуса, листал книжку и ликовал. Я и раньше читал Петефи, в девятом еще классе купил небольшую книжку в красных корочках и восхищался даром божьим венгерского классика, но тогда я был один. А теперь, заглянув в книжный по дороге с главпочтамта в университет, увидел новое издание, взял моего любимца в руки, нашел знакомые строки, и мне тут же захотелось прочитать их дружкам. Купил, не задумываясь, и тут, в столовке, опять в одиночестве пока что, восхищался такими великими двустушиями:

*Что ела ты, земля, — ответ на мой вопрос, —
Что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез?*

Мимо тети Дуси я прошел, наверное, с отрешенным несколько видом. Помню только, что она проводила меня взглядом сочувственным, даже жалеющим, и я запоздало кивнул ей.

Зато перед аудиторией, где сидел после занятий наш народ, я снова раскрыл книжицу, вошел к друзьям и воскликнул, обращаясь к ним стихами Петефи:

*Что слава? Радуга в глазах,
Луч, преломившийся в слезах.*

Народ обернулся ко мне основательней, отрываясь от книжек и конспектов, а я, уже в открытую распахнув книжку, прочитал:

*Но почему же всех мерзавцев
Не можем мы предать петле?
Быть может, потому лишь только,
Что не найдется сучьев столько
Для виселиц на всей земле!*

*О, сколько на земле мерзавцев!
Клянусь: когда бы сволочь вся
В дождя бы капли превратилась —
Дней сорок бы ненастье длилось,
Потоп бы снова начался!*

Я попал в самую точку! Кто-то еще скрывал свои поэтические опыты, а кто-то и являл их узкому дружескому кругу, но сочинительством болела, наверняка, четверть курса из пятидесяти душ, а потому Петефи не мог их оставить безучастными. Стихоплеты наши только вступали в образование, большинство и не слышало имени Петефи, но такие дерзкие строки многому научали, что уж там толковать.

А я был втайне счастлив, даже горд, что кинул камешек в пруд и от него пошли круги. Поэты спорили с непоэтами, эти самые непоэты упирали на содержание, может, впервые все мы слышали известное, но считавшееся непубличным слово «сволочь» в стихах признанного классика — ведь ни у Пушкина, ни у Лермонтова оно не употреблялось, в общем, вокруг меня раздавались разрывы словесных снарядов, впрочем, не очень-то впечатляющие, и я затих. А еще немного погодя почувствовал голод: тарелка лапши быстро разошлась по клеточкам моего молодого организма, и требовалось подкрепление.

Я, оставив друзей, яростно спорящих уже с цитатами от Лафонтена до Карла Маркса, зачем-то спустился в столовку, но там было пусто. За стеклянной полукруглой витриной буфета — чистые железные полки. Касса тети Дуси холодно блестит и закрыта на висящий замочек.

Только, может быть, сейчас я разглядел внимательно этот полустеклянный скворечник: деревянная, крашенная в белое основа и склеенный из плексигласа короб на ней. В прозрачной стене проделано кассовое полукруглое окно, теперь тоже запечатое изнутри.

В самой столовой, на раздаче, еще слышались голоса, лилась вода, наверное, домывали посуду, и там, пожалуй, оставалась какая-никакая жратва. Но я не решился заглянуть в обеденный зал. Достоинство не позволяло.

Продолжение следует.

